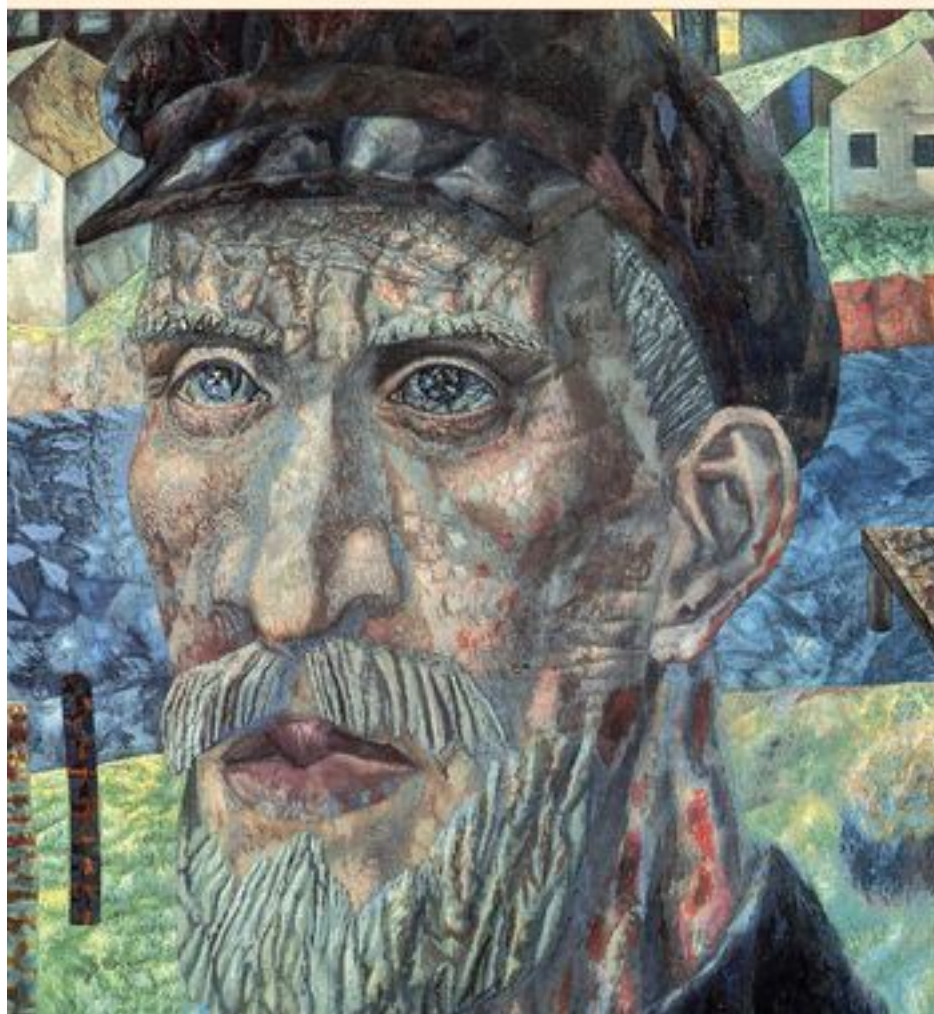


Библиотека Всемирной Литературы



Виктор Астафьев

Царь-рыба. Повести. Рассказы



Виктор Астафьев
Пастух и пастушка

«ЭКСМО»

1967-1971-1989

Астафьев В. П.

Пастух и пастушка / В. П. Астафьев — «Эксмо», 1967-1971-1989

ISBN 978-5-699-27331-7

«...Борис и старшина держались вместе. Старшина – левша, в сильной левой руке он держал лопатку, в правой – трофейный пистолет. Он не палил куда попало, не суетился. Он и в снегу, в темноте видел, где ему надо быть. Он падал, зарывался в сугроб, потом вскакивал, поднимая на себе воз снега, делал короткий бросок, рубил лопатой, стрелял, отбрасывал что-то с пути.– Не психуй! Пропадешь! – кричал он Борису. Дивясь его собранности, этому жестокому и верному расчету, Борис и сам стал видеть бой отчетливей, понимать, что взвод его жив, дерется ...»

ISBN 978-5-699-27331-7

© Астафьев В. П., 1967-1971-1989

© Эксмо, 1967-1971-1989

Содержание

Часть первая	6
Часть вторая	17
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Виктор Петрович Астафьев

Пастух и пастушка

Современная пастораль

*Любовь моя, в том мире давнем,
Где бездны, кущи, купола, —
Я птицей был, цветком и камнем
И перлом — всем, чем ты была!*

Теофиль Готье

И брела она по тихому полю, непаханому, нехоженому, косы не знавшему. В сандалии ее сыпались семена трав, колючки цеплялись за пальто старомодного покроя, отделанного сереньким мехом на рукавах.

Оступаясь, соскальзывая, будто по наледи, она поднялась на железнодорожную линию, зачастила по шпалам, шаг ее был суетливый, сбивающийся.

Насколько хватало взгляда — степь, немая, предзимно взявшаяся рыжеватой шерсткой. Солончаки накрапом пятнали степную даль, добавляя немоты в ее безгласное пространство, да у самого неба тенью проступал хребет Урала, тоже немой, тоже недвижно усталый. Людей не было. Птиц не слышно. Скот отогнали к предгорьям. Поезда проходили редко.

Ничто не тревожило пустынной тишины.

В глазах ее стояли слезы, и оттого все плыло перед нею, качалось, как в море, и где начиналось небо, где кончалось море — она не различала. Хвостатыми водорослями шевелились рельсы. Волнами накатывали шпалы. Дышать ей становилось все труднее, будто поднималась она по бесконечной шаткой лестнице.

У километрового столба она вытерла глаза рукой. Полосатый столбик порябил-порябил и утвердился перед нею. Она опустилась с линии и на сигнальном кургане, сделанном пожарными или в древнюю пору кочевниками, отыскала могилу.

Может, была когда-то на пирамидке звездочка, но отопрела. Могилу затянуло травой провололочником и полынью. Татарник взнимался рядом с пирамидкой-столбиком, не решаясь подняться выше. Несмело цеплялся он заусенцами за изветренный столбик, ребристое тело его было измучено и остисто.

Она опустилась на колени перед могилой.

— Как долго я тебя искала!

Ветер шевелил полынь на могиле, вытеребивал пух из шишечек карлика-татарника. Сыпучие семена чернобыля и замершая сухая трава лежали в бурых щелях старчески потрескавшейся земли. Пепельным тленом отливала предзимная степь, угрюмо нависал над нею древний хребет, глубоко вдавившийся грудью в равнину, так глубоко, так грузно, что выдавилась из глубины земли горькая соль и бельма солончаков, отблескивая холодно, плоско, наполняли мертвенным льдистым светом и горизонт, и небо, спаявшееся с ним.

Но это там, дальше было все мертво, все остыло, а здесь шевелилась пугливая жизнь, скорбно шелестели немощные травы, похрустывал костлявый татарник, сыпалась сохлая земля, какая-то живность, полевка-мышка, что ли, суетилась в трещинах земли меж сохлых травок, отыскивая прокорм.

Она развязала платок, прижалась лицом к могиле.

— Почему ты лежишь один посреди России?

И больше ни о чем не спрашивала.

Думала.

Вспоминала.

Часть первая

Бой

*«Есть упоение в бою!» – какие красивые и устарелые слова!..
Из разговора, услышанного на войне*

Орудийный гул опрокинул, смял ночную тишину. Просекая тучи снега, с треском поло-
суя тьму, мелькали вспышки орудий, под ногами качалась, дрожала, шевелилась растревожен-
ная земля вместе со снегом, с людьми, приникшими к ней грудью.

В тревоге и смятении проходила ночь.

Советские войска добивали почти уже задушенную группировку немецких войск, коман-
дование которой отказалось принять ультиматум о безоговорочной капитуляции и сейчас вот
вечером, в ночи сделало последнюю свехотчаянную попытку вырваться из окружения.

Взвод Бориса Костяева вместе с другими взводами, ротами, батальонами, полками с
вечера ждал удара противника на прорыв. Машины, танки, кавалерия весь день металась по
фронту. В темноте уже выкатились на взгорок «катюши», поизорвали телефонную связь. Сол-
даты, хватаясь за карабины, зверски ругались с эрэсовцами – так называли на фронте мино-
метчиков с реактивных установок – «катюш». На зачехленных установках толсто лежал снег.
Сами машины как бы приосели на лапах перед прыжком. Изредка всплывали над передовой
ракеты, и тогда видно делалось стволы пушчонок, торчащих из снега, длинные спички пэтэ-
эров. Немытой картошкой, бесхозяйственно высыпанной на снег, виделись солдатские головы
в касках и планках, там и сям церковными свечками светились солдатские костерки, но вдруг
среди полей поднималось круглое пламя, взнимался черный дым – не то подорвался кто на
мине, не то загорелся бензовоз либо склад, не то просто плеснули горячим в костерок танки-
сты или шофера, взбодряя силу огня и торопясь доварить в ведре похлебайку.

В полночь во взвод Костяева приволоклась тыловая команда, принесла супу и сто боевых
граммов. В траншеях началось оживление. Тыловая команда, напуганная глухой метельной
тишиной, древним светом диких костров – казалось, враг, вот он, ползет-подбирается, – торо-
пила с едой, чтобы скорее заполучить термосы и умотать отсюда. Храбро сулились тыловики
к утру еще принести еды и, если выгорит, водчонки. Бойцы отпускать тыловиков с передовой
не спешили, разжигали в них панику байками о том, как тут много противника кругом и как
он, нечистый дух, любит и умеет ударять враспloch.

Эрэсовцам еды и выпивки не доставили, у них тыловики пешком ходить разучились, да
еще по уброду. Пехота оказалась по такой погоде пробойней. Благодушные пехотинцы дали
похлебать супу, отделили курева эрэсовцам. «Только по нас не палить!» – ставили условие.

Гул боя возникал то справа, то слева, то близко, то далеко. А на этом участке тихо, тре-
возно. Безмерное терпение кончалось, у молодых солдат являлось желание ринуться в кро-
мешную темноту, разрешить неведомое томление пальбой, боем, истратить накопившуюся
злость. Бойцы постарше, натерпевшиеся от войны, стойче переносили холод, секущую метель,
неизвестность, надеялись: пронесет и на этот раз. Но в предутренний уже час, в километре,
может в двух, правее взвода Костяева послышалась большая стрельба. Сзади, из снега, ударили
полторасотки-гаубицы, снаряды, шамкая и шипя, полетели над пехотинцами, заставляя утя-
гивать головы в воротники оснеженных, мерзлых шинелей.

Стрельба стала разрастаться, густеть, накатываться. Пронзительней завывли мины, нема-
зано заскрежетали эрэсы, озарились окопы грозными всполохами. Впереди, чуть левее, часто,
заполюшно тявкала батарея полковых пушек, рассыпая искры, выбрасывая горячей вехоткой
скомканное пламя.

Борис вынул пистолет из кобуры, поспешил по окопу, то и дело проваливаясь в снежную кашу. Траншею хотя и чистили лопатами всю ночь и набросали высокий бруствер из снега, но все равно хода сообщений забило местами вровень со срезами, да и не различить было эти срезы.

– О-о-о-од! Приготовиться! – крикнул Борис, точнее, пытался кричать. Губы у него состылись, и команда получилась невнятная. Помкомвзвода старшина Мохнаков поймал Бориса за полу шинели, уронил рядом с собой, и в это время эрэсы выхаркнули вместе с пламенем угловатые стрелы снарядов, озарив и парализовав на минуту земную жизнь, кипящее в снегах людское месиво; рассекло и прошило струями трассирующих пуль мерклый ночной покров; мерзло застучал пулемет, у которого расчетом воевали Карышев и Малышев; ореховой скорлупой посыпали автоматы; отрывисто захлопали винтовки и карабины.

Из круговерти снега, из пламени взрывов, из-под клубящихся дымов, из комьев земли, из охающего, ревающего, с треском рвущего земную и небесную высь, где, казалось, не было и не могло уже быть ничего живого, возникла и покатила на траншею темная масса из людей. С кашлем, криком, визгом хлынула на траншею эта масса, провалилась, забурилась, заплескалась, смывая разъяренным отчаянием гибели волнами все сущее вокруг. Оголодалые, деморализованные окружением и стужей, немцы лезли вперед безумно, слепо. Их быстро прикончили штыками и лопатами. Но за первой волной накатила другая, третья. Все перемешалось в ночи: рев, стрельба, матюки, крик раненых, дрожь земли, с визгом откаты пушек, которые били теперь и по своим, и по немцам, не разбирая, кто где. Да и разобрать уже ничего было нельзя.

Борис и старшина держались вместе. Старшина – левша, в сильной левой руке он держал лопатку, в правой – трофейный пистолет. Он не палил куда попало, не суетился. Он и в снегу, в темноте видел, где ему надо быть. Он падал, зарывался в сугроб, потом вскакивал, поднимая на себе воз снега, делал короткий бросок, рубил лопатой, стрелял, отбрасывал что-то с пути.

– Не психуй! Пропадешь! – кричал он Борису.

Дивясь его собранности, этому жестокому и верному расчету, Борис и сам стал видеть бой отчетливей, понимать, что взвод его жив, дерется, но каждый боец дерется поодиночке, и нужно знать солдатам, что он с ними.

– Ребя-а-а-ата-аа-а! Бе-ей! – кричал он, взрыдывая, брызгаясь бешеной вспенившейся слюной.

На крик его густо сыпали немцы, чтобы заткнуть ему глотку. Но на пути ко взводному все время оказывался Мохнаков и оборонял его, оборонял себя, взвод.

Пистолет у старшины выбили или обойма кончилась. Он выхватил у раненого немца автомат, расстрелял патроны и остался с одной лопаткой. Отоптав место возле траншеи, Мохнаков бросил через себя одного, другого тощего немца, но третий с визгом по-собачьи вцепился в него, и они клубком покатались в траншею, где копошились раненые, бросаясь друг на друга, воя от боли и ярости.

Ракеты, много ракет взмыло в небо. И в коротком, полощущем свете отрывками, проблесками возникали лоскутья боя, в адовом столпотворении то сближались, то проваливались во тьму, зияющую за огнем, ощеренные лица. Снеговая пороша в свете делалась черной, пахла порохом, секла лицо до крови, забивала дыхание.

Огромный человек, шевеля громадной тенью и развевающимся за спиной факелом, двигался, нет, летел на огненных крыльях к окопу, круша все на своем пути железным ломом. Сыпались люди с разваленными черепами, торной тропой по снегу стелилось, плыло за карающей силой мясо, кровь, копоть.

– Бей его! Бей! – Борис пятился по траншее, стрелял из пистолета и не мог попасть, уперся спиной в стену, перебирал ногами, словно бы во сне, и не понимал, почему не может убежать, почему не повинуются ему ноги.

Страшен был тот, горящий, с ломом. Тень его металась, то увеличиваясь, то исчезая, он сам, как выходец из преисподней, то разгорался, то темнел, проваливался в геенну огненную. Он дико выл, оскаливая зубы, и чудились на нем густые волосы, лом уже был не ломом, а выдранным с корнем дубьем. Руки длинные с когтями...

Холодом, мраком, лешачьей древностью веяло от этого чудовища. Полыхающий факел, будто отсвет тех огненных бурь, из которых возникло чудовище, поднялось с четверенек, дошло до наших времен с неизменившимся обликом пещерного жителя, овеществлял это видение.

«Идем в крови и пламени...» – вспомнились вдруг слова из песни Мохнакова, и сам он тут как тут объявился. Рванул из траншеи, побрел, черная валенками снег, сошелся с тем, что горел уже весь, рухнул к его ногам.

– Старшина-а-а-а! Мохнако-о-ов! – Борис пытался забить новую обойму в рукоятку пистолета и выпрыгнуть из траншеи. Но сзади кто-то держал, тянул его за шинель.

– Карау-у-ул! – тонко вел на последнем издыхании Шкалик, ординарец Бориса, самый молодой во взводе боец. Он не отпускал от себя командира, пытался стащить его в снежную норку. Борис отбросил Шкалика и ждал, подняв пистолет, когда вспыхнет ракета. Рука его отвердела, не качалась, и все в нем вдруг заостенело, сцепилось в твердый комок – теперь он попадет, твердо знал – попадет.

Ракета. Другая. Пучком выплеснулись ракеты. Борис увидел старшину. Тот топтал что-то горящее. Клубок огня катился из-под ног Мохнакова, ошметки разлетались по сторонам. Погасло. Старшина грузно свалился в траншею.

– Ты живой! – Борис хватал старшину, ощупывал.

– Все! Все! Рехнулся фриц! С катушек сошел!.. – втыкая лопатку в снег, вытирая ее о землю, задыхливо выкрикивал старшина. – Простыня на нем вспыхнула... Страсть!..

Черная пороша вертелась над головой, ахали гранаты, сыпалась стрельба, грохотали орудия. Казалось, вся война была сейчас здесь, в этом месте; кипела в растоптанной яме траншеи, исходя удушливым дымом, ревом, визгом осколков, звериным рычанием людей.

И вдруг на мгновение все опало, остановилось. Усилился вой метели...

– Танки! – разноголосо завопила траншея.

Из темноты нанесло удушливой гари. Танки безглазыми чудовищами возникли из ночи. Скрежетали гусеницами на морозе и тут же буксовали, немея в глубоком снегу. Снег пузырился, плавился под танками и на танках.

Им не было ходу назад, и все, что попадало на пути, они крушили, перемалывали. Пушки, две уже только, развернувшись, хлестали им вдогон. С вкрадчивым курлыканьем, от которого заходило сердце, обрушился на танки залп тяжелых эрэсов, электросварочной вспышкой ослепив поле боя, качнув окоп, оплавляя все, что было в нем: снег, землю, броню, живых и мертвых. И свои, и чужеземные солдаты попадали влещку, жались друг к другу, заталкивали головы в снег, срывая ногти, по-собачьи рыли руками мерзлую землю, старались затискаться поглубже, быть поменьше, утягивали под себя ноги – и все без звука, молчком, лишь загнанный хрип слышался повсюду.

Гул нарастал. Возле тяжелого танка ткнулся, хокнул огнем снаряд гаубицы. Танк содрогнулся, звякнул железом, забежал влево-вправо, качнул орудием, уронил набалдашник дульного тормоза в снег и, буравя перед собой живой, перекатывающийся ворох, ринулся на траншею. От него, уже неуправляемого, в панике рассыпались и чужие солдаты, и русские бойцы. Танк возник, зашевелился безглазой тушей над траншеей, траки лязгнули, повернулись с визгом, бросив на старшину, на Бориса комья грязного снега, обдав их горячим дымом выхлопной трубы. Завалившись одной гусеницей в траншею, буксуя, танк рванулся вдоль нее.

Надсаженный, на пределе завывал мотор, гусеницы рубили, перемалывали мерзлую землю и все в нее вкопанное.

– Да что же это такое? Да что же это такое? – Борис, ломая пальцы, вцарапывался в твердую щель. Старшина тряс его, выдергивал, будто суслика, из норки, но лейтенант вырывался, лез заново в землю.

– Гранату! Где гранаты?

Борис перестал биться, лезть куда-то, вспомнил: под шинелью на поясе у него висели две противотанковые гранаты. Он всем раздал с вечера по две и себе взял, да вот забыл про них, а старшина или потерял свои, или использовал уже. Стянув зубами рукавицу, лейтенант сунул руку под шинель – граната на поясе висела уже одна. Он выхватил ее, начал взводить чеку. Мохнаков шарил по рукаву Бориса, пытался отнять гранату, но взводный отталкивал старшину, полз на коленях, помогая себе локтями, вслед за танком, который пахал траншеей, метр за метром прогрызая землю, нащупывая опору для второй гусеницы.

– Пстой! Пстой, курва! Сейчас! Я тебя... – Взводный бросал себя за танком, но ноги, ровно бы вывернутые в суставах, не держали его, он падал, запинаясь о раздавленных людей, и снова полз на коленях, толкался локтями. Он потерял рукавицы, наелся земли, но держал гранату, словно рюмку, налитую вслянь, боясь расплескать ее, вслаивая, плакал оттого, что не может настичь танк.

Танк ухнул в глубокую воронку, задержался в судорогах. Борис приподнялся, встал на одно колено и, ровно в чик играя, метнул под сизый выхлоп машины гранату. Жахнуло, обдало лейтенанта снегом и пламенем, ударило комками земли в лицо, забило рот, катануло по траншее точно зайчонка.

Танк дернулся, осел, смолк. Со звоном упала гусеница, распустилась солдатской обмоткой. По броне, на которой с шипением таял снег, густо зачиркало пулями, еще кто-то фуганул в танк гранату.

Остервенело били по танку ожившие бронебойщики, высекая синие всплески пламени из брони, досадуя, что танк не загорелся. Возник немец без каски, черноголовый, в разорванном мундире, с привязанной за шею простыней. С живота строча по танку из автомата, он что-то кричал, подпрыгивая. Патроны в рожке автомата кончились, немец отбросил его и, обдирая кожу, стал колотить голыми кулаками по цементированной броне. Тут его и подсекло пулей. Ударившись о броню, немец сполз под гусеницу, подергался в снегу и успокоенно затих. Простыня, надетая вместо маскхалата, метнулась раз-другой на ветру и закрыла безумное лицо солдата.

Бой откатился куда-то во тьму, в ночь. Гаубицы переместили огонь; тяжелые эрэсы, содрогаясь, визжа и воя, поливали пламенем уже другие окопы и поля, а те «катюши», что стояли с вечера возле траншей, горели, завязши в снегу. Оставшиеся в живых эрэсовцы сметались с пехотой, бились и погибали возле отстрелявшихся машин.

Впереди все таяла полковая пушчонка, уже одна. Смятая, растерзанная траншея пехотинцев вела редкий орудийный огонь, да булькал батальонный миномет трубой, и вскоре еще две трубы начали бросать мины. Обрадованно запоздало затрещал ручной пулемет, а танковый молчал, и бронебойщики выдохлись. Из окопов, то тут, то там, выскакивали темные фигуры, от низко севших, плоских касок казавшиеся безголовыми, с криком, с плачем бросались во тьму, следом за своими, словно малые дети гнались за мамкою.

По ним редко стреляли, и никто их не догонял.

Заполыхали в отдалении скирды соломы. Фейерверком выплескивалось в небо разноцветье ракет. И чьи-то жизни ломало, уродовало в отдалении. А здесь, на позиции взвода Костяева, все стихло. Убитых заносило снегом. На догорающих машинах эрэсовцев трещали и рвались патроны, гранаты; горячие гильзы высыпались из коптящих машин, дымились, шипели в снегу. Подбитый танк остывшей тушей темнел над траншеей, к нему тянулись, ползли раненые, чтобы укрыться от ветра и пуль. Незнакомая девушка с подвешенной на груди санитарной

сумкой делала перевязки. Шапку она обронила и рукавицы тоже, дула на коченеющие руки. Снегом запорошило коротко остриженные волосы девушки.

Надо было проверять взвод, готовиться к отражению новой атаки, если она возникнет, налаживать связь.

Старшина успел уже закурить. Он присел на корточки – его любимая расслабленная поза в минуту забвения и отдыха, смежив глаза, тянул сигарку, изредка без интереса поглядывал на тушу танка, темную, неподвижную, и снова прикрывал глаза, задремывал.

– Дай мне! – протянул руку Борис.

Старшина окурка взводному не дал, достал сначала рукавицы взводного из-за пазухи, потом уж кисет, бумагу, не глядя сунул, и когда взводный неумело скрутил сырую сигарку, прикурил, закашлялся, старшина бодро воскликнул:

– Ладно ты его! – и кивнул на танк.

Борис недоверчиво посмотрел на усмиренную машину: такую громадину! – такой маленькой гранатой! Такой маленький человек! Слышал взводный еще плохо. И во рту у него была земля, на зубах хрустело, грязью забило горло. Он кашлял и отплевывался. В голову ударило, в глазах возникали радужные круги.

– Раненых... – Борис почистил в ухе. – Раненых собирать! Замерзнут.

– Давай! – отобрал у него сигарку Мохнаков, бросил ее в снег и притянул за воротник шинели взводного ближе к себе. – Идти надо, – донеслось до Бориса, и он снова стал чистить в ухе, пальцем выковыривая землю.

– Что-то... Тут что-то...

– Хорошо, цел остался! Кто ж так гранаты бросает!

Спина Мохнакова, погоны его были обляпаны грязным снегом. Ворот полушубка, наполовину с мясом оторванный, хлопался на ветру. Все качалось перед Борисом, и этот хлопающий воротник старшины, будто доскою, бил по голове, не больно, но оглушительно. Борис на ходу черпал рукою снег, ел его, тоже гарью и порохом засоренный, живот не остужало, наоборот, больше жгло.

Над открытым люком подбитого танка воронкой завинчивало снег. Танк остывал. Позванивало, трескалась, железо, больно стреляло в уши. Старшина увидел девушку-санинструктора без шапки, снял свою и небрежно насунил ей на голову. Девушка даже не взглянула на Мохнакова, лишь на секунду приостановила работу и согрела руки, сунув их под полушубок к груди.

Карышев и Малышев, бойцы взвода Бориса Костяева, подтаскивали к танку, в заветрие, раненых.

– Живы! – обрадовался Борис.

– И вы живы! – тоже радостно отозвался Карышев и потянул воздух носищем так, что тесемка развязанной шапки влетела в ноздрю.

– А пулемет наш разбило, – не то доложил, не то повинился Малышев.

Мохнаков влез на танк, столкнул в люк перевесившегося, еще вялого офицера в черном мундире, распоротом очередями, и тот загремел, будто в бочке. На всякий случай старшина дал в нутро танка очередь из автомата, который успел где-то раздобыть, посветил фонариком и, спрыгнув в снег, сообщил:

– Офицера наглушило! Полная утроба! Ишь как ловко: мужика-солдата вперед, на мясо, господу под броню... – Он склонился к санинструктору: – Как с пакетами?

Та отмахнулась от него. Взводный и старшина откопали провод, двинулись по нему, но скоро из снега вытащили оборвыш и добрались до ячейки связиста наугад. Связиста раздавило в ячейке гусеницей. Тут же задавлен немецкий унтер-офицер. В щепки растерт ящичек телефона. Старшина подобрал шапку связиста и натянул на голову. Шапка оказалась мала, она старым коршунным гнездом громоздилась на верхушке головы старшины.

В уцелевшей руке связист зажал алюминиевый штырек. Штырьки такие употреблялись немцами для закрепления палаток, нашими телефонистами – как заземлители. Немцам выдавали кривые связистские ножи, заземлители, кусачки и прочий набор. Наши все это заменяли руками, зубами и мужицкой смекалкой. Штырьком связист долбил унтера, когда тот прыгнул на него сверху, тут их обоих и размичало гусеницей.

Четыре танка остались на позициях взвода, вокруг них валялись полузанесенные снегом трупы. Торчали из свежих суметов руки, ноги, винтовки, термосы, противогазные коробки, разбитые пулеметы, и все еще густо чадили сгоревшие «катюши».

– Связь! – громко и хрипло выкрикнул полуглухой лейтенант и вытер нос рукавицей, заледенелой на пальце.

Старшина и без него знал, что надо делать. Он скликал тех, кто остался во взводе, отрядил одного бойца к командиру роты, если не сыщется ротного, велел бежать к комбату. Из подбитого танка добыли бензину, плескали его на снег, жгли, бросая в костер приклады разбитых винтовок и автоматов, трофейное барахло. Санинструкторша отогрела руки, прибралась. Старшина принес ей меховые офицерские рукавицы, дал закурить. Перекурив и перемолвившись о чем-то с девушкой, он полез в танк, пошарился там, освещая его фонариком, и завопил, как из могилы:

– Е-е-есть!

Побулькивая алюминиевой флягой, старшина вылез из танка, и все глаза устремились на него.

– По глотку раненым! – обрезал Мохнаков. – И... немножко доктору, – подмигнул он санинструкторше, но она никак не ответила на его щедрость и весь шнапс разделила по раненым, которые лежали на плащ-палатках за танком. Кричал обгорелый водитель «катюши». Крик его стискивал душу, но бойцы делали вид, будто ничего не слышали.

Раненный в ногу сержант попросил убрать немца, который оказался под ним, – студено от мертвого. Выкатили на верх траншеи окоченелого фашиста. Кричащий его рот был забит снегом. Растолкали на стороны, повытаскивали из траншеи и другие трупы, соорудили из них бруствер – защиту от ветра и снега, над ранеными натянули козырек из плащ-палаток, прикрепив углы к дулам винтовок. В работе немного согрелись. Хлопались железно плащ-палатки под ветром, стучали зубами раненые, и, то затихая в бессилии, то вознося отчаянный крик до неизвестно куда девавшегося неба, мучился водитель. «Ну что ты, что ты, браток?» – не зная, чем ему помочь, утешали водителя солдаты. Одного за другим посылали солдат в батальон, никто из них не возвращался. Девушка отозвала Бориса в сторону. Пряча нос в спекшийся от мороза воротник телогрейки, она стучала валенком о валенок и смотрела на потрепанные рукавицы лейтенанта. Помедлив, он снял рукавицы и, наклонившись к одному из раненых, натянул их на охотно подставленные руки.

– Раненые замерзнут, – сказала девушка и прикрыла распухшими веками глаза. Лицо ее, губы тоже распухли, багровые щеки ровно бы присыпаны отрубями – потрескалась кожа от ветра, холода и грязи.

Уже невнятно, будто засыпая с соской во рту, всхлипывал обожженный водитель.

Борис засунул руки в рукава, виновато потупился.

– Где ваш санинструктор? – не отрывая глаз, спросила девушка.

– Убило. Еще вчера.

Водитель смолк. Девушка нехотя расклеила веки. Под ними слоились, затемняя взгляд, неподвижные слезы. Борис догадался, что девушка эта из дивизиона эрэсовцев, со сгоревших машин. Она, напрягшись, ждала – не закричит ли водитель, и слезы из глаз ее откатились туда, откуда возникли.

– Я должна идти. – Девушка поежилась и постояла еще секунду-другую, вслушиваясь. – Нужно идти, – взбодривая себя, прибавила она и стала карабкаться на бруствер траншеи.

– Бойца!.. Я вам дам бойца.

– Не надо, – донеслось уже издали. – Мало народу. Вдруг что.

Спустя минуту Борис выбрался из траншеи. Срывая с глаз рукавом настывшее мокро, пытался различить девушку во тьме, но никого и нигде уже не было видно.

Косыми полосами шел снег. Хлопья сделались белей, липучей. Борис решил, что метель скоро кончится: густо повалило – ветру не пробиться. Он возвратился к танку, постоял, опершись на гусеницу спиной.

– Карышев, Малышев, собирайте все в костер! – угрюмо распорядился лейтенант и тише добавил: – Раздевайте убитых, чтобы накрыть, – показал он взглядом на раненых, – и рукавицы мне где-нибудь найдите. Старшина! Боевое охранение как?

– Выставил.

– К артиллеристам бы сходить. Может, у них связь работает?

Старшина нехотя поднялся, затянул ту же полушубок и поволокся к пушчонкам, что так стойко сражались ночью. Вернулся скоро.

– Одна пушка осталась и четыре человека. Тоже раненые. Снарядов нет. – Мохнаков охлопал снег с воротника полушубка и только сейчас удивленно заметил, что он оторван. – Прикажете артиллеристов сюда? – прихватывая ворот булавкой, спросил он.

Борис кивнул. И те же Малышев и Карышев, которым износу не было, двинулись за старшиной.

Раненых артиллеристов перетащили в траншею. Они обрадовались огню и людям, но командир орудия не ушел с боевых позиций, попросил принести ему снарядов от разбитых пушек.

Так, без связи, на слухе и нюхе, продержались до утра. Как привидения, как нежити, появлялись из тьмы раздерганными группами заблудившиеся немцы, но, завидев русских, подбитые танки, чадающие машины, укатывались куда-то, пропадали навечно в сонно укутывающей все вокруг снеговой мути.

Утром, уже часов около восьми, перестали ухать сзади гаубицы. Смолкли орудия слева и справа. И впереди унялась пушчонка, звонко ударив последний раз. Командир орудия или расстрелял поднесенные ему от других орудий снаряды, или умер у своей пушки. Внизу, в пойме речки или в оврагах, догадался Борис, не унимаясь, бухали два миномета, с вечера было их там много; стучали крупнокалиберные пулеметы; далеко куда-то по неведомым целям начали бить громкогласно и весомо орудия большой мощности. Пехота уважительно примолкла, да и огневые точки переднего края одна за другой начали смущенно свертывать стрельбу; рявкнули на всю округу отлаженным залпом редкостные орудия (знатоки уверяли, что в дуло их может запросто влезть человек!), тратящие больше горючего в пути, чем пороху и снарядов в боях, высокомерно замолчали, но издали долго еще докатывались толчки земли, звякали солдатские котелки на поясах от содрогания. Но вот совсем перестало встряхивать воздух и снег. Снег оседал, лепился уже без шараханья, валил обрадованно, оплошно, будто висел над землей, копился, дожидаясь, когда стихнет внизу, уймется огненная стихия.

Тихо стало. Так тихо, что солдаты начали выпрастываться из снега, оглядываться недоверчиво.

– Все?! – спросил кто-то.

«Все!» – хотел закричать Борис, но долетела далекая дробь пулеметов, чуть слышные раскаты взрыва пробурчали летним громом.

– Вот вам и все! – буркнул взводный. – Быть на месте! Проверить оружие!

– А-а-а-аев!.. А-я-а-ев!

Голос приближался.

– Ан-ан... Ая-я-аяев...

– Вроде вас кличут? – наострил тонкое и уловчивое ухо бывший командир колхозной пожарки, ныне рядовой стрелок Пафнутьев и заорал, не дожидаясь разрешения:

– О-го-го-о-о-о-о! – грелся Пафнутьев криком.

И только он кончил орать и прыгать, как из снега возник солдат с карабином, упал возле танка, занесенного снегом уже до борта. Упал на остывшего водителя, пощупал, отодвинулся, вытер с лица мокро.

– У-уф! Ищу, ищу, ищу! Чего ж не откликаетесь-то?

– Ты бы хоть доложил... – заворчал Борис и вытащил руки из карманов.

– А я думал, вы меня знаете! Связной ротного, – отряхиваясь рукавицей, удивился посыльный.

– С этого бы и начинал.

– Немцев расхлопали, а вы тут сидите и ничего не знаете! – забывая неловкость, допущенную им, затараторил солдат.

– Кончай травить! – осадил его старшина Мохнаков. – Докладывай, с чем пришел, угощай трофейной, коли разжился.

– Значит, вас, товарищ лейтенант, вызывают. Ротным вас, видать, назначат. Ротного убило у соседей.

– А мы, значит, тут? – сжал синие губы Мохнаков.

– А вы, значит, тут, – не удостоил его взглядом связной и протянул кисет: – Во! Наш саморуб-мордоворот! Лучше греет...

– Пошел ты со своим саморубом! Меня от него... Ты девку в поле нигде не встречал?

– Не-е. А чё, сбегла?

– Сбегла, сбегла. Замерзла небось девка. – Мохнаков скользнул по Борису укоризненным взглядом. – Отпустили одну...

Натягивая узкие мазутные рукавицы, должно быть, с покойного водителя, плотнее подпоясываясь, Борис сдавленно проговорил:

– Как доберусь до батальона, первым делом пришло за ранеными. – И, стыдясь скрытой радости оттого, что он уходит отсюда, Борис громче добавил, приподняв плащ-палатку, которой были накрыты раненые: – Держитесь, братцы! Скоро вас увезут.

– Ради бога, похлопочи, товарищ лейтенант. Холодно, мочи нет.

Борис и Шкалик брели по снегу без пути и дороги, полагаясь на нюх связного. Нюх у него оказался никудышным. Они сбились с пути, и, когда пришли в расположение роты, там никого уже не было, кроме сердитого связиста с расцарапанным носом. Он сидел, укрывшись плащ-палаткой, точно бедуин в пустыне, и громко крыл боевыми словами войну, Гитлера, но пуще всего своего напарника, который уснул на промежуточной точке, – телефонист посадил батарейки на аппарате, пытаясь разбудить его зуммером.

– Во! Еще лунатики объявились! – с торжеством и злостью заорал связист, не отнимая пальца от осой ноющего зуммера. – Лейтенант Костяев, что ль? – И, получив утвердительный ответ, нажал клапан трубки: – Я сматываюсь! Доложи ротному. Код? Пошел ты со своим кодом. Я околел до смерти... – продолжал лаяться связист, отключая аппарат и все повторяя: – Ну, я ему дам! Ну, я ему дам! – Вынув из-под зада котелок, на котором он сидел, охнул, поковылял по снегу отсиженными ногами. – За мной! – махнул он. Резво треща катушкой, связист сматывал провод и озверело пер вперед, на промежуточную, чтобы насладиться местью: если напарник не замерз, пнуть его как следует.

* * *

Командир роты разместился за речкой, на окраине хутора, в бане. Баня излажена по-черному, с каменкой – совсем уж редкость на Украине. Родом из семиреченских казаков, однокашник Бориса по полковой школе, комроты Филькин, фамилия которого была притчей во языцех и не соответствовала его боевому характеру, приветливо, даже чересчур приветливо встретил взводного.

– Здесь русский дух! – весело гаркнул он. – Здесь баней пахнет! Помоемся, Боря, попаримся!.. – Был он сильно возбужден боевыми успехами, может, хватил уже маленько, любил он это дело...

– Во война, Боря! Не война, а хреновина одна. Немцев сдалось – тучи. Прямо тучи. А у нас? – прищелкнул он пальцем. – Вторая рота почти без потерь: человек пятнадцать, да и те блудят небось либо дрыхнут у хохлуш, окаянные. Ротного нет, а за славянами глаз да глаз нужен...

– А нас напарили! Половина взвода смята. Раненых надо вывозить.

– Да-а? А я думал, вас миновало. В стороне были... Но отбил же, – хлопнул Филькин по плечу Бориса и приложился к глиняному жбану с горлышком. У него перебило дух. Он покрутил восторженно головой. – Во напиток – стенолаз. Тебе не дам, хоть ты и замерз. Раненых выносить будем. Обоз не знаю где. Я им морды набью! А ты, Боря, на время пойдешь вместо... Знаю, знаю, что обожаешь свой взвод. С скромный, знаю. Но надо. Вот гляди сюда! – Филькин раскрыл планшетку и стал тыкать в карту пальцем. С обмороженного брюшка пальца сходила кожа, и кончик его был красненький и круглый, как редиска. – Значит, так: хутор нашими занят, но за хутором, в оврагах и на поле, между хутором и селом, – большое скопление противника. Предстоит добивать. Без техники немец, почти без боеприпасов, полудохлый, а черт его знает! Отчаялись. Значит, пусть Мохнаков снимает взвод, сам крой выбирать место для воинства. Я подтяну туда все, что осталось от моей роты. Действуй! Береги солдат, Боря! До Берлина еще далеко!..

– Раненых уברי! Врача пошли. Самогонку отдай. – показал Борис на жбан с горлышком.

– Ладно, ладно, – отмахнулся комроты. – Возьму раненых, возьму. – И начал звонить куда-то по телефону. Борис решительно забрал посудину с самогонкой и, неловко прижимая ее к груди, вышел из бани.

Отыскав Шкалика, он передал ему посудину и приказал быстро идти за взводом.

– Возле раненых оставьте кого-нибудь, костер жгите, – наказывал он. – Да не заблудись.

Шкалик засунул в мешок посудину, надел винтовку за спину, взмахнул рукавицей у виска и нехотя побрел через огороды.

Занималось утро, может, сделалось светлее оттого, что утихла метель. Хутор занесен снегом по самые трубы. Возле домов стояли с открытыми люками немецкие танки, бронетранспортеры. Иные дымились еще. Болотной лягушкой расщеперилась на дороге расплюснутая легковая машина, из нее расплывалось багрово-грязное пятно. Снег был черен от копоты. Всюду воронки, комья земли, раскиданные взрывами. Даже на крыши набросана земля. Плетни везде свалены; немногие хаты и сараи сворочены танками, побиты снарядами. Воронье черными лохмами кружилось над оврагами, молчаливое, сосредоточенное.

Воинская команда в заношенном обмундировании, напевая, будто на сплаве, сталкивала машины с дороги, расчищала путь технике. Горел костерок возле хаты, возле него грелись пожилые солдаты из тыловой трофейной команды. И пленные тут же у огня сидели, несмело тянули руки к теплу. На дороге, ведущей к хутору, темной ломаной лентой стояли танки, машины, возле них прыгали, толкались экипажи. Хвост колонны терялся в еще не осевшей снежной мути.

Взвод прибыл в хутор быстро. Солдаты потянулись к огонькам, к хатам. Отвечая на немой вопрос Бориса, старшина живо доложил:

– Девка-то, санинструкторша-то, трофейные повозки где-то надыбала, раненых всех увезла. Эрэсовцы – не пехота – народ союзный.

– Ладно. Хорошо. Ели?

– Чё? Снег?

– Ладно. Хорошо. Скоро тылы подтянутся.

Согревшиеся в быстром марше солдаты уже смекали насчет еды. Варили картошку в касках, хрумкали трофейные галеты, иные и разговелись маленько. Заглядывали в баню, принялись хивались. Но пришел Филькин и прогнал всех, Борису дал нагоняй ни за что ни про что. Впрочем, тут же выяснилось, отчего он вдруг озверел.

– За баней был? – спросил он.

– Нет.

– Сходи.

За давно не топленной, но все же угарно пахнувшей баней, при виде которой сразу зачесалось тело, возле картофельной ямы, прикрытой шалашиком из бурьяна, лежали убитые старик и старуха. Они спешили из дому к яме, где, по всем видам, спасались уже не раз сперва от немецких, затем от советских обстрелов и просиживали подолгу, потому что старуха прихватила с собой мочальную сумку с едой и клубком толсто напряденной шерсти. Залп вчерашней артподготовки прижал их за баней – тут их и убило.

Они лежали, прикрывая друг друга. Старуха спрятала лицо под мышку старику. И мертвых их било осколками, посеколо одежку, выдрало серую вату из латаных телогреек, в которые они оба были одеты. Артподготовка длилась часа полтора, и Борис, еще издали глядя на густое кипение взрывов, подумал: «Не дай бог попасть под такое столпотворение...»

Из мочальной сумки выкатился клубок, вытащив резинку начатого носка со спицами из ржавой проволоки. Носки из пестрой шерсти на старухе, и эти она начала, должно быть, для старика. Обута старуха в калоши, подвязанные веревочками, старик – в неровно обрезанные опорки от немецких сапог. Борис подумал: старик обрезал их потому, что взьемы у немецких сапог низки и сапоги не налезали на его больные ноги. Но потом догадался: старик, срезая лоскутья с голенищ, чинил низы сапог и постепенно добрался до взъема.

– Не могу... Не могу видеть убитых стариков и детей, – тихо уронил подошедший Филькин. – Солдату вроде бы как положено, а перед детьми и стариками...

Угрюмо смотрели военные на старика и старуху, наверное, живших по-всякому: и в ругани, и в житейских дразгах, но обнявшихся преданно в смертный час.

Бойцы от хуторян узнали, что старики эти приехали сюда с Поволжья в голодный год. Они пасли колхозный табун. Пастух и пастушка.

– В сумке лепехи из мерзлых картошек, – объявил связной комроты, отнявши сумку из мертвых рук старухи, и начал наматывать нитки на клубок. Смотал, остановился, не зная, куда девать сумку.

Филькин длинно вздохнул, поискал глазами лопату и стал копать могилу. Борис тоже взял лопату. Но подошли бойцы, больше всего не любящие копать землю, возненавидевшие за войну эту работу, отобрали лопаты у командиров. Щель вырыли быстро. Попробовали разнять руки пастуха и пастушки, да не могли и решили – так тому и быть. Положили их головами на восход, закрыли горестные потухшие лица: старухино – ее же полушалком с реденькими висюльками кисточек, старика – ссохшейся, как слива, кожаной шапчонкой. Связной бросил сумку с едой в щель и принялся кидать лопатой землю.

Зарыли безвестных стариков, прихлопали лопатами бугорок, кто-то из солдат сказал, что могила весной просядет – земля-то мерзлая, со снегом, и тогда селяне, может быть, перехоронят старика и старуху. Пожилой долговязый боец Ланцов прочел над могилой складную, тихую

молитву: «Боже правый духов, и всякий плоти, смерть поправший и диавола упразднивший, и живот миру Твоему даровавший, сам Господи упокой душу усопшего раба Твоего... рабов Твоих», – поправился Ланцов.

Солдаты притихли, все кругом притихло, отчего-то побледнел, подобрался старшина Мохнаков. Случайно в огород забредший славянин с длинной винтовкой на плече начал было любопытствовать: «А чё тут?» Но старшина так на него зашипел и такой черный кулак поднес ему, что тот сразу смолк и скоро упятился за ограду.

Часть вторая

Свидание

И ты пришла, заслышав ожиданье...
Я. Смеляков

Солдаты пили самогонку.

Пили торопливо, молча, не дожидаясь, когда сварится картошка.

Пальцами доставали прокисшую капусту из глечика, хрустели, кричали и не смотрели друг на друга.

Хозяйка дома, по имени Люся, пугливо взглядывала в сторону солдат, подкладывала сухие ветки акаций и жгуты соломы в печь – торопилась доварить картошку. Корней Аркадьевич Ланцов, расстилавший солому на полу, выпрямился, отряхнул ладонями штаны, боком подсел к столу:

– Налейте и мне.

Борис сидел у печки, грелся и отводил глаза от хозяйки, возившейся рядом. Старшина Мохнаков поднял с пола немецкую канистру, налил полную кружку, подсунул ее Ланцову и криво шевельнул углом рта:

– Запыживай, паря!

Корней Аркадьевич суетливо оправил гимнастерку, будто нырять в прорубь собрался. Судорожно дергаясь, всхлипывая, вытянул самогонку и какое-то время сидел оглушенный. Наконец наладилось дыхание, и Ланцов жалко пролепетал, убирая пальцем слезу:

– Ах, господи!

Скоро, однако, он приглушил застенчивость, оживился, пытаясь заговорить с солдатами, со старшиной. Но те упорно молчали и глушили самогонку. В избе делалось все труднее дышать от табачного дыма, стойкого запаха затхлой буряковой самогонки и гнетущего ожидания чего-то худого.

«Хоть бы сваливались скорее, – с беспокойством думал взводный, – а то уже и жутко даже...»

– Вы тоже выпили бы, – обратился к нему Корней Аркадьевич, – право, выпили бы... Оказывается, помогает...

– Я дождусь еды, – отвернулся к печи Борис и стал греть руки над задымленным шестком. Труба тянула плохо, выбрасывала дым. Видать, давно нет мужика в доме.

Неустойчиво все во взводном, в голове покачивается и звенит еще с ночи. Разбил он однажды сапоги до того, что остались передки с голенищами. Подвязал их проволокой, но когда простыл и ходить вовсе не в чем сделалось, стянул сапоги с такого же, как он, молоденького лейтенанта, полегшего со взводом в балке. Стянул, надел – у него непереносимо, изводно стыли ноги в этих сапогах. И он поскорее сменял их.

Теперь вот у него такое ощущение, будто весь он в сапоге, стянутом с убитого человека.

– Промерзли? – спросила хозяйка.

Он потер виски ладонью, приостановил в себе обморочную качку, взглянул на нее осмысленно. «Есть маленько», – хотелось сказать ему, но он ничего не сказал, сосредоточил разбитое внимание на огне под таганком.

По освещенному огнем лицу хозяйки пробежали тени. И было в ее маленьком лице что-то как будто недорисованное, было оно подкопчено лампадками или лучиной, проступали отдельные лишь черты лика. Хозяйка чувствовала на себе пристальный, украдчивый взгляд и покусывала припухшую нижнюю губу. Нос ее ровный, с узенькими раскрылками, припачкан

сажей. Овсяные, как определяют в народе, глаза, вызревшие в форме овсяного зерна, прикрыты кукольно загнутыми ресницами. Когда хозяйка открывала глаза, из-под ресниц этих обнажались темные и тоже очень вытянутые зрачки. В них метался отсвет огня, глаза в глуби делались переменчивыми: то темнели, то высветлялись и жили отдельно от лица. Но из загадочных, как бы перенесенных с другого, более крупного лица глаз этих не исчезало выражение покорности и устоявшейся печали. И еще Борис заметил, как беспокойны руки хозяйки. Она все время пыталась и не могла найти им место.

Солома прогорела. Веточки акаций лежали горкой раскаленных гвоздиков, от них шел сухой струйный жар. Рот хозяйки чуть приотворился, руки успокоились у самого горла. Казалось, спугни ее – и она, вздрогнув, уронит руки, схватится за сердце.

– Может быть, сварилась? – осторожно дотронулся до локтя хозяйки Борис.

– А? – Хозяйка отпрянула в сторону. – Да, да, сварилась. Пожалуй, сварилась. Сейчас попробуем. – Произношение не украинское. И ничего в ней не напоминало украинку, разве что платок, глухо завязанный, да передник, расшитый тесьмою. Но немцы всех жителей, и в первую голову женщин, научили здесь затеняться, прятаться, бояться.

Люся выдвинула кочергой ведерный чугунок на край припечка, ткнула пальцем в картофелину, затрясла рукой. Сунула палец в рот. Получилось по-детски смешно и беззащитно. Борис едва заметно улыбнулся.

Прихватив чугунок чьей-то портянкой, он отлил горячую воду в лохань, стоявшую в углу под рукомойником. Из лохани ударило тяжелым паром. Хозяйка вынула палец изо рта, спрятала руку под передник, потерянно и удивленно наблюдала за действиями командира.

– Вот теперь налейте и мне, – поставив чугунок на стол, произнес лейтенант.

– Да ну-у? – громко удивился Мохнаков. – К концу войны, глядишь, и вы с Корнеем обстреляетесь! – Подкова рта старшины разогнулась чуть ли не до подбородка, выражая презрение, может, брезгливость или еще какие-то скрытые неприязненные чувства, которыми полнился старшина всякий раз, когда пьянел. Вновь его обуревал кураж – так называется это на родимой сторонushке взводного и помкомвзвода, в Сибири.

Борис не смотрел на старшину, лишь сердито двинул в бок Шкалика:

– Подвинься-ка!

Шкалик ужаленно подскочил и чуть не свалился со скамейки.

– Напоили мальчишку! – Борис не обращался ни к кому, но старшина его слышал, внимал, поднял глаза к потолку, не переставая кривить рот в усмешке. – Садитесь, пожалуйста, – позвал Борис Люсю, одиноко прижавшуюся спиной к остывшему шестку и все прячущую руку под передником.

– Ой, да что вы! Кушайте, кушайте! – почему-то испугалась хозяйка и стала суетливо шарить по платку, по груди, ускользая глазами от взгляда Мохнакова, вдруг в нее уставившегося.

– Не-е, девка, не отказывайся, – распевно завел Пафнутьев, – не моргуй солдатской едой. Мы худого тебе не сделаем. Мы...

– Да хватит тебе! – Борис похлопал рукой по скамейке, с которой услужливо сошел Пафнутьев. – Я вас очень прошу.

– Хорошо, хорошо! – Люся как будто застыдилась, что ее упрашивают, лейтенант даже на солдата рассердился почему-то. – Я сейчас, одну минутку...

Она исчезла в чистой половине, прикрытой створчатой дверью, и скоро возвратилась оттуда без платка, без передника. У нее была коса, уложенная на затылке. Легкий румянец выступил на лице ее. Не ко времени и не к месту она тут, среди грязных, мятых и сердитых солдат, думалось ей. Она стеснялась себя.

– Напрасно вы здесь расположились, – скованно заговорила она и пояснила Борису: – Просила, просила, чтоб проходили туда, – махнула она на дверь в чистую половину.

– Давно не мылись мы, – сказал Карышев, а его односельчанин и кум Малышев добавил:
– Натрясем трофеев.
– Вот уж намоемся, отстираемся, в порядок себя приведем... – завел напевно Пафнутьев.
– Тогда и в гости пожалуем, – подхватил Мохнаков, подмигивая всему застолью разом, с форсом без промаха поровну разливая всем, и Люсе тоже, убойно пахнущее зелье. Он первый громко, как бы с дружеским вызовом звякнул гнутой алюминиевой кружкой в стакан, из деликатности отваленный Люсе. И все солдаты забренчали посудинами, смешанно произнесли привычное: «Будем здоровы!», «Со свиданьем!» и так далее. Люся подождала с поднятым стаканом – не скажет ли чего командир. Он ничего не говорил.

– С возвращением вас... – потупившись, вымолвила хозяйка в ответ и отвернулась к печке, часто заморгав. – Мы так вас долго ждали. Так долго... – она говорила с какой-то покаянностью, словно виновата была в том, что так долго пришлось ждать. Отчаянно, в один дух, Люся выпила самогонку и закрыла ладошкой рот.

– Вот это – по-нашенски! Вот видно, что рада! – загудел Карышев и потянулся к ней с американской колбасой на складнике, с наспех ободранной картофелиной. Шкалик хотел опередить Карышева, да уронил картошку. Ему в ширинку накрошилось горячее, он забился было, но тут же испуганно сжался. Взводный с досадою отвернулся. Шкалик стряхнул горячее в штанину, и ему сделалось лучше.

Человек этот, Шкалик, был непьющий. Еще Борис и Корней Аркадьевич непьющие. Оттого чувствовали они себя иной раз бросовыми людьми и не такими прочными бойцами, как все остальное воинство, которое хотя тоже большей частью пило «для сугрева», но как-то умело внушить свою полную отчаянность и забубенность. Вообще мужик наш, русский мужик, очень любит нагонять на себя отчаянность, а посему и привирает подчас совершенно безгрешно насчет баб и выпивки. Пил сильно, но упорно не пьянел лишь старшина, добывая где-то, даже в безлюдных местах, горючку всяких видов, и возле него всегда крутился услужливый, падкий на дармовщинку, кум-пожарник Пафнутьев. Малышев и Карышев пивали редко, зато уж обстоятельно. Получая свои сто граммов, они сливали их во флягу, и, накопив литр, а то и более, дождавшись благой, затишной минуты, устраивались на поляне либо в хате какой, неторопливо пили, чокаясь друг с другом, и ударялись в воспоминания, «советовались», как объясняли они свои беседы. Потом пели – Карышев басом, Малышев дискантом:

За ле-есом солнце зы-ва-сия-а-а-ало,
Гы-де черы-най во-е-еора-а-ан про-кы-ричи-ал.
Пы-рошли часы, пы-рошли мину-уты,
Ковды-ы зы-девче-е-онкой я-а-а гуля-а-ал...

– Откуль будешь, дочка? – лез с вопросами к Люсе любящий всех людей на свете Карышев, покрасневший от выпивки. – По обличью и говору навроде расейская? – И Малышев собирался вступить в разговор, но взводный упредил его:

– Дай человеку поесть.

– Да я могу есть и говорить. – Люся радовалась, что солдаты сделались ближе и доступнее. Один лишь старшина ощупывал ее потаенным взглядом. От этого всепонимающего, налитого тяжестью взгляда ей все больше и больше становилось не по себе. – Я нездешняя.

– А-а. То-то я гляжу: обличье... Не чалдонка, случаем? – все больше смягчая лицом, продолжал расспрашивать Карышев.

– Не знаю.

– Вот те раз! Безродная, что ли?

– Ага.

– А-а. Тогда иное дело. Тогда конечно... Судьба, она, брат, такое может с человеком сотворить...

Взводный души не чаял в этих двух алтайцах-кумовьях, которые родились, жили и работали в самой красивой на свете, по их заверению, алтайской деревне Ключи. Не сразу понял этих солдат Борис. Поначалу, когда пришел во взвод, казались они ему тупицами, он даже раздражался, слушая подковырки и насмешки их друг над другом. Карышев был рыжий. Малышев – лысый. Эти-то два отличия они и использовали для шуток. Стоило снять Карышеву пилотку, как Малышев начинал зудеть: «Чего разболокся? Взбредет в башку германцу, что русский солдат картошку варит на костре, – и зафитилит из орудия!» Карышев срывал пучок травы и бросал на лысину Малышеву: «Блестишь на всю округу! Фриц усекет – миномет тута – и накроет!»

Солдаты впокат валились, слушая перебранку алтайцев, а Борис думал: «До чего же отупеть надо, чтобы радоваться таким плоским, да и неловким для пожилых людей насмешкам». Но постепенно привык он к людям, к войне, стал их видеть и понимать по-другому, ничего уже низкого в неуклюжих солдатских шутках и подковырках не находил.

Воевали алтайцы, как работали, без суеты и злобы. Воевали по необходимости, да основательно. В «умственные» разговоры встречали редко, но уж если встречали – слушай.

Как-то Карышев срубил под корень Ланцова, впавшего в рассуждения насчет рода людского: «Всем ты девицам по серьгам отвесил: и ученым, и интеллигентам, и рабочим в особенности, потому как сам из рабочих и главнее всех сам себе кажешься. А всех главнее на земле – крестьянин-хлебороб. У него есть все: земля! У него и будни, и праздники в ней. Отбирать ему ни у кого ничего не надобно. А вот у крестьянина от веку норовят отнять хлеб. Германец, к слову, отчего воюет и воюет? Да оттого, что крестьянствовать разучился и одичал без земляной работы. Рабочий класс у него машины делает и порох. А машины и порох жрать не будешь, вот он и лезет всюду, зорит крестьянство, землю топчет и жгет, потому как не знает цену ей. Его бьют, а он лезет. Его бьют, а он лезет!»

Карышев сидел нынче за столом широко, ел опрятно и с хитровой мудрецей поглядывал на Корнея Аркадьевича. Гимнастерку алтаец расстегнул, пояс отвязал, был широк и домовит. Картошку он чистил брюшками пальцев, раздевши ее, незаметно подсовывал Люсе и Шкалику. Совсем уж пьяный был Шкалик, шатался на скамейке, ничего не ел. Нес капусту в рот, да не донес, все на гимнастерку развесил. Карышев тряхнул на нем гимнастерку, ленточки капусты сбросил на пол. Шкалик тупо следил за его действиями и вдруг ни с того ни с сего ляпнул:

– А я из Чердынского району!..

– Ложился бы ты спать, из Чердынского району, – заворчал отечески Карышев и показал Шкалику на солому.

– Не верите? – Шкалик жалко, по-ребячьи лупил глаза. Да и был он еще парнишкой – прибавил себе два года, чтобы поступить в ремесленное училище и получать бесплатное питание, а его цап-царап в армию, и загремел Шкалик на фронт, в пехоту.

– Есть такое место на Урале, – продолжал настаивать Шкалик, готовый вспылить или заплакать. – Там, знаете, какие дома?!

– Большие! – хмыкнул Пафнутьев, мужичонка прицепистый, всем недовольный оттого, что с хорошей службы слетел. Состоял он при особом отделе армии, но одного осужденного в штрафную до ветру отпустил, тот взял да и в село ушел, гимнастерку променял, сапоги, пьяный и босой возвратился. За потерю бдительности Пафнутьев и оказался на передовой.

– Ры-разные, а не большие, – поправил его Шкалик, – и что тебе наличники, и что тебе ворота – все из... изрезанные, изукрашенные. И еще там купец жил – рябчиками торговал... ми... милены нажил...

– Он не дядей тебе случайно приходился? – продолжал расспрашивать Пафнутьев, и Люся почувствовала: не по-хорошему он парнишку подъедает. Шкалик ничего разобрать не мог, охотно беседовал.

– Не-е, мой дядя конюхом состоит.

– А тетя – конюшихой?

– Тетя? Тетя конюшихой. Смеетесь, да? – Шкалик прошелся по застолью налитыми горем глазами, часто захлопал прямыми и белыми, как у поросенка, ресницами. – У нас писатель Решетников жил! – звонко закричал Шкалик и стукнул кулачишком по столу. – «Подлиповцы» читали? Это про нас...

– Читали, читали... – начал успокаивать ею Корней Аркадьевич. – Пила и Сысойка, девка Улька, которую живьем в землю закопали... Все читали. Пойдем-ка спать. Пойдем баиньки. – Он подхватил Шкалика, поволок его в угол на солому. – До чего ты ржавый крючок! – бросил он Пафнутьеву.

– Во! – кричал Шкалик. – А они не верят! У нас еще коней разводили!.. Графья Строгановы...

– И откуль в таком маленьком человеке столько памяти? – развел руками Пафнутьев.

– Хватит! – прикрикнул Борис. – Дался он вам...

– Я серьезно...

Все в Борисе одрябло, даже голос. В паутинистом сознании путались предметы, лица солдат, ровно бы выцветшие, подернутые зыбкой пеленой. Сонная тяжесть давила на веки, расслабляла мускулы, даже руками двигать было тяжело. «Уходил, – вяло подумал Борис. – Больше не надо выпивать...» Он начал есть капусту с картошкой, попил холодной воды и почувствовал себя тверже.

Старшина покуривал, пуская дым в потолок, и все так же отдаленно улыбался, кривя угол рта.

– Извините, – сказал хозяйке Борис, как бы проснувшись, и пододвинул к ней банку с американской колбасой. Он все время ловил на себе убегающий взгляд ласковых, дальним скользящим светом осиянных глаз. Будто со старой иконы или с потертого экрана появились, ожили глаза, и то темнело, то прояснялось лицо женщины. – Держу при себе, как ординарца, хотя мне он и не положен, – пояснил Борис насчет Шкалика, чтобы хоть о чем-то говорить и не пялиться на хозяйку. – Горе мне с ним: ни починиться, ни сварить... и все теряет... В запасном полку отощал, куриной слепотой заболел.

– Зато мягкосердечный, добренький зато, – неожиданно вставил Мохнаков, все глядя в потолок и как бы ни к кому не обращаясь. Взгляд и лицо Мохнакова совсем затяжелели. А в горле его появилась ржа. Помкомвзвода почему-то недобро подъедал взводного. Солдаты насторожились – этого еще не было. Старшина, будто родимый тятя, опекал и берег лейтенанта. И вот что-то произошло между ними. Ну произошло и произошло, разбирайтесь потом, а сейчас-то в этой хате, при такой молодой и ладной хозяйке, после ночного побоища всем хотелось быть добрыми, хорошими. Ланцов, Карышев, Малышев, даже Пафнутьев с укором взирали на своих командиров.

Борис не отозвался на выпад старшины и не прикасался больше к кружке с самогонкой, хотя солдаты и насылались с выпивкой, зная, что чарка всегда была верным орудием в примирении людей. Даже Ланцов разошелся и пьяно лип с просьбой выпить.

Родом Ланцов из Москвы. В детстве на клиросе пел, потом под давлением общественности к атеистически настроенному пролетариату присоединился, работал корректором в крупном издательстве, где, не жалея времени и головы, прочел без разбора множество всякой литературы, отчего привержен сделался к пространным рассуждениям.

– Ах, Люся, Люся! – схватившись за голову, долговязо раскачивался Ланцов и артистично замирал, прикрывая глаза. – Что мы повидали! Что повидали! Одной ночи на всю жизнь хватит...

«Прямо как на сцене, – морщился Борис. – Будто он один насмотрелся».

Пересиливая раздражение, Борис положил руку на плечо солдата:

– Корней Аркадьевич! Ну что вы, ей-богу! Давайте о чем-нибудь другом. Споем? – нашелся взводный.

Звенит зва-янок насче-от па-верки-и-и,
Ланцов из за-я-амка у-ю-бежа-а-ал... —

охотно откликнувшись, заорал Пафнутьев. Но Корней Аркадьевич прикрыл его рот сморщенной ладонью.

– Насчет Ланцова потом. Говорить хочу. Я долго молчал. Я все думал, думал и молчал. – Взводный чуть заметно улыбнулся солдатам: пусть, мол, потешится человек. – Я сегодня думал. Вчера молчал. Думал. Ночью, лежа в снегу, думал: неужели такое кровопролитие ничему не научит людей? Эта война должна быть последней! Или люди недостойны называться людьми! Недостойны жить на земле! Недостойны пользоваться ее дарами, жрать хлеб, картошку, мясо, рыбу, коптить небо. Прав Карышев, сто раз прав, одна истина свята на земле – материнство, рождающее жизнь, и труд хлебопашца, вскармливающий ее...

Что-то раздражало сегодня лейтенанта, всё и все раздражали, но Ланцов с его рассуждениями в особенности. И хотя Борис понимал, что пора уже всем отдыхать и самого на сон ведет, но все же подзадорил доморощенного философа в завшивленной гимнастерке, заросшего реденькой сивой бородой псаломщика:

– Так. Земля. Материнство. Пашня. Все это вещи достойные, похвальные. – Борис заметил, как начали переглядываться, хмыкать бойцы: «Ну, снова началось!» Но остановить себя уже не мог. «Неужто я так захмелел?..», но его несло. Отличником в школе он не был, однако многие прописные истины выучил наизусть. – Ну а героизм? То самое, что вечно двигало человека к подвигам, к совершенству, к открытиям?

– Героизм! Подвиги! Безумству храбрых поем мы песню! – с криком вознес руки к потолку Ланцов. – Не довольно ли безумства-то? Где граница между подвигом и преступлением? Где?! Вон они, герои великой Германии, отказавшиеся по велению отцов своих – командиров от капитуляции и от жизни, волками воюющие сейчас на морозе, в снегах России. Кто они? Герои? Подвижники? Переустроители жизни? Благодетели человечества? Или вот открыватели Америк. Кто они? Бесстрашные мореплаватели? Первопроходцы? Обратно благодетели? Но эти благодетели на пути к подвигам и благам замордовали, истребили целые народы на своем героическом пути. Народы слабые, доверчивые. Это ж дети, малые дети земли, а благодетели по их трупам с крестом и мечом, к новому свету, к совершенству. Слава им! Памятники по всей планете! Возбуждение! Пробуждение! Жажда новых открытий, богатств. И все по трупам, все по крови! Уж не сотни, не тысячи, не мильены, уже десятками миллионов человечество расплачивается за стремление к свободе, к свету, к просвещенному разуму! Не-эт, не такая она, правда! Ложь! Обман! Коварство умствующих ублюдков! Я готов жить в пещере, жрать сырое мясо, грызть горький корень, но чтоб спокоен был за себя, за судьбу племени своего, братьев своих и детей, чтобы уверен был, что завтра не пустит их в распыл на мясо, не выгонит их во чистое поле замерзать, погибать в муках новый наполеон, гитлер, а то и свой доморощенный бог с бородкой иудея или с усами джигита, ни разу не сядившегося на коня...

– Стоп, военный! – хлопнул по столу старшина и поймал на лету ложку. – Хорошо ты говоришь, но под окном дежурный с колотушкой ходит... – Мохнаков со значением глянул на Пафнутьева, сунул ложку за валенок. – Иди, прохладись, да пописать не забудь – здесь светлее сделается, – похлопал он себя по лбу.

Люся очнулась, перевела взгляд на Ланцова, на старшину, видно было, что ей жаль солдата, которого зачем-то обижали старшина и лейтенант.

– Простите! – склонил в ее сторону голову Корней Аркадьевич. Он-то чувствовал отзывчивую душу. – Простите! – церемонно поклонился застолью Ланцов и, хватаясь за стены, вышел из хаты.

– Во, артист! Ему комедь представлять бы, а он в пехоте! – засмеялся Пафнутьев.

Большоголовый, узкогрудый, с тонкими длинными ногами, бывший пожарник походил на гриб, растущий в отбросах. В колхозе, да еще и до колхоза проявлял он высокую сознательность, чего-то на кого-то писал, клепал и хвост этот унес за собой в армию, дотащил до фронта. Злой, хитрый солдат Пафнутьев намекал солдатам – чего-чего, но докладывать он научился, никто во взводе не пострадает. И все-таки лучше б его во взводе не было.

Мохнаков умел управляться со всяким народом. Он выпил самогона, налил Пафнутьеву, дождался, когда тот выпьет, и показал ему коричневую от табака дулю:

– Запыжь ноздрю, пожарный! Ты ведь не слышал, чего тут чернокнижник баял! Не слышал?

– Ни звука! Я же песню пел, – нашелся Пафнутьев и умильно, с пониманием грянул дальше:

Ро-сой с тра-явы-ы он у-ю-умыва-ялся-а-а,
Малил-ыл-ся бо-е-огу на-я-а восто-о-ок...

Шкалик сел на соломе, покачался, поморгал и потянулся к банке.

– Не цапай чужую посудину! – рыкнул на него старшина и сунул ему чью-то кружку. Шкалик понюхал, зазевал косоротом. Затошнило его.

– Марш на улицу! Свинство какое! – Борис, зардевшись, отвернулся от хозяйки, уставился на старшину. Тот отвел глаза к окну, скучно зевнул и стал громко царапать ледок на стекле.

– Да что вы, да я всякого навидалась! – попыталась ликвидировать неловкую заминку Люся. – Подотру. Не сердитесь на мальчика. – Она хотела идти за тряпкой, но Карышев деликатно придержал ее за локоть и показал на банку с колбасой. Она стала есть колбасу. – Ой! – спохватилась хозяйка. – А вы сала не хотите? У меня сало есть!

– Хотим сала! – быстро повернулся к ней старшина и охально ощерился. – И еще кое-чего хотим, – бросил он с ухмылкой вдогонку Люсе.

Пафнутьев, подпершись ладонью, тянул тоненько песню про Ланцова, который из замка убежал. Столько унижали в жизни Пафнутьева, особенно в тыловой части, в особом-то отделе, все время заставляя хомутничать, прислуживать, и все передовой стращали, а оно на передовой жить можно. Бог милостив! Кукиш под нос? Да пустяк это, но все же царапнуло душу, глаза раскисли, сами собой как-то, невольно раскисли.

– Жалостливость наша, – мямлил Пафнутьев, и все поняли – это он не только о себе, но и о Корнее Аркадьевиче. – Вот я... обутий, одетый, в тепле был, при должности, ужаси никакой не знал... Жалость меня, вишь ли, разобрала... Чувствие!

Мохнаков навис глыбою над столом, начал шарить по карманам, чего-то отыскивать. Вытащил железную пуговицу, подбросил ее, поймал и чересчур решительно вышел из избы, тяжелее обычного косолапая. Последнее время как-то подшибленно стал ходить старшина, заметили солдаты, пьет зверски и все какой-нибудь предмет ловко подбрасывает – пуговицу, монету, камешек и не ловит игриво, прямо-таки выхватывает предмет из пространства, а то бросит и тут же забудет про него, уставится слепым взглядом в пустоту. Начал даже синенькой немецкой гранатой баловаться. Граната наподобие пасхального яичка – такая веселая игрушка, бросает иль в горстище ее тискает, а у той пустяшной гранатки и чека пустяшная, что пуговка у штанов. Зароптали бойцы: если желательно старшине, чтобы ему пооторвало руки или еще кой-чего, пусть жонглирует вдали, им же все, что с собой, до дому сохранить охота.

В хату возвратился Ланцов, мотнул головой Борису. Взводный подпрыгнул, кого-то или чего-то сронил со скамьи, разбежавшись, торкнулся в дверь.

В потемках сеней в него ткнулся головой Шкалик. Не мог найти скобу. Борис втокнул Шкалика в хату, прислушался. В темном углу сеней слышалась возня: «Не нужно! Да не надо же! Да что вы?! Да товарищ старшина!.. Да... Холодно же... Да господи!..»

– Мохнаков!

Стихло. В темноте возник старшина, придвинулся, тяжело, смрадно дыша.

– Выйдем на улицу!

Старшина помедлил и нехотя шагнул впереди Бориса, не забыв пригнуться у притолоки. Они стояли один против другого. Ноздри старшины посапывали, вбирая студеной воздух. Борис подождал, пока стукнет дверь в хату.

– Чем могу служить? – Дыхание у старшины выровнялось, он не сипел уже ноздрями.

– Вот что, Мохнаков! Если ты... Я тебя убью! Пристрелю. Понял?

Старшина отступил на шаг, смерил взглядом лейтенанта с ног до головы и вяло, укоризненно молвил:

– Оконтузило тебя гранатой, вот и лезешь на стены. Чернокнижника завел.

– Ты знаешь, чем меня оконтузило.

В голосе лейтенанта не было ни злобы, ни грозы, какая-то душу стискивающая тоска, что ли, сквозила издали, даже завестись ответно не было возможности. На старшину тоже стала накатывать горечь, печаль, словом, чем-то тоскливым тоже повеяло. Он сердито поддернул штаны, запахнул полушубок, осветил взводного фонариком. Тот не зажмурился, не отвел взгляда. Изветренные губы лейтенанта кривило судорогой. В подглазьях темень от земли и бессонницы. Глаза в красных прожилках, шея скособочилась – натер шею воротником шинели, может, и старая рана воспалилась. Стоит, пялит зенки школьные, непорочные. «Ах ты, господи боже мой!..»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.